

Константин Николаевич Леонтьев

Хамид и Маноли

Константин Леонтьев

Хамид и Маноли[1]

Рассказ критской гречанки об истинных событиях 1858 г.

I

Нас было двое у отца и матери — брат мой Маноли и я. Дом наш был в Анерокуру. Ты, верно, видел по дороге к Суде две деревни на склоне горы.

Одна зовется Скалария, а другая Анерокуру, — это наша родина. Она вся в зелени скрыта... И теперь цела; сколько ни разбойничали и ни разоряли народ проклятые турки, а около Ханьи, верно, консулов боялись, мало трогали.

Домик наш давно продан и пристанища нет у меня, господин мой! Вся семья наша родилась горькая; отец был рыбак и утонул в море, когда брату Маноли было десять лет всего, а мне немного больше. Мать бедная кормила нас долго, как могла; чулки вязала, полы нанималась мыть, в монастырь нанималась служить; наберет иногда жасмину са-

мого душистого, нанижет его на прутик, сядет на дороге и ждет. Бей ли какой проедет, турчанки ли богатые пройдут, консул ли или какой-нибудь иной богатый франк под руку с женой гуляет, сам на себя любит, — мать поклонится и подаст жасмины: и всегда ей что-нибудь за жасмины дадут; турки, скажу я тебе правду, отказывали редко. Это у них есть. И другие давали, шутили с матерью: «Что Елена, бедная? Все об детях ты убиваешься?»

А давно ли ты красавица первая была у нас в округе? Никак про тебя и стишки эти сделали:

Всем нашим девушкам царица,
Красой и добротой, ты душа Эленица![2]

Это ей говорил часто бакал[3] один Ставраки, как только завидит ее, и никогда с пустыми руками не отпускал. Говорили люди, что он как молод был и еще беден, так хотел взять мою мать; да родные отговорили. И вышла ему другая судьба: дочь хозяина, у которого он в лавке служил, влюбилась в него; увидал богатый отец, что дочь беременна от мальчишка, от Ставраки; побил Ставраки, а

все-таки дочь за него отдал и со всем богатством. А мать за рыбака вышла. Хуже всех это франки... Как я тебе скажу, господин мой? кабы моя сила была, я бы франков ко хвосту лошадиному привязывала, да чтоб рвали их лошади на части.

Турок глуп и варвар; а его они всему злому учат, зачем вера у нас православная, а не такая как у них.

Подала мать раз жасмин француженке, а она как закричит: «Иди, иди прочь! Не люблю я этого запаха! Какие эти греки все бесстыдные... Не хотят работать!» Слышите? Греки ленивы? Не хотят работать? чума ты такая, ведьма франкская! Разве стыдно цветки бедной женщине продавать? А что твой муж, чума ты французская, из Австрии всякую гнилую дрянь натащил в лавку свою и народ обирает наш простой? Это не стыдно? Купит человек ковер у твоего мужа: «Это, подумает, европейская вещь». А через год, гляди, уж и бросил ковер никуда негодный.

Много я от франков зла видела всякого, господин мой!

А брат мой, бедный Маноли, от турок по-

гиб, удавили его солдаты на лестнице у паши, перед всем народом.

Такова была судьба его! Подружился он с турками, принял на душу свою большой стыд и грех большой и погиб.

Вся семья наша была несчастливая.

II

О самой себе мне много нечего рассказывать. Я через три года после того, как утонул отец, вышла замуж, а через год после свадьбы овдовела. Муж мой — Янаки, был каменьщик, и его задавила скала: обрушилась на него, когда он работал.

Пока он женихом был, с полгода мы жили очень хорошо, и вышла за него замуж — тоже хорошо жила.

Первый раз увидела я его у нас на одной свадьбе в деревне. Он был из другого села. Пришел, стоит широкоплечий такой у стенки, облокотился и смеется, глядит на нас. Был в то время карнавал; мальтийцы-носильщики в Ханье пели и плясали, и наши молодцы выучились у итальянцев наряжаться — кто медведем, кто доктором, кто кавассом кон-

сульским в арнаутской фустанелле. Говорят наши паликары: «Нарядись, Янаки, и ты!» «Детские, говорит, это вещи, я не стану наряжаться!» А сам искоса на меня глядит. И мне он понравился. Стал он в нашей Анерокуру работать и к матери пришел. Мы его кофеем угощали, и я тогда же про себя думала: «Никак вышла мне хорошая судьба!» Он хоть был и каменщик, а дом у него свой был и одевался он по праздникам в тонкое голубое сукно очень чисто. Щеголять любил. Я тоже хитрая, знаю по какой дорожке он под вечер ходит с работы; сегодня нет, завтра нет, а на третий день и пойду по этой дорожке.

— Добрый вечер, Катерина! — и если нет никого и руку пожмет крепко. Такой он был видный из себя и молодец всем. Наши критские, правду надо сказать, красавцы все. Еще Янаки был лицом хуже многих; да вот — я его любила!

Раз шел он мимо нас и показал мне, что у него пуговица на рукаве оборвалась. «Сирота я здесь, Катерина, кто мне в Анерокуру пришьет?» Я говорю: «Я тебе пришью!» И пришла. А когда нагнулась к руке его зубами нитку

откусить, у него рука как вздрогнула, и он сказал мне: «Люблю я тебя душа, Катйинко, больше всего света Божьего!»

Сказали мы матери; матери что же? Слава Богу — судьба дочери вышла! Стал Янаки к нам ходить каждый день, часы серебряные мне подарил, платье шолковое, а платочков головных и не сочтешь сколько!

И домик наш сам починил; по праздникам соберем других девушек, и он приведет молодцов, и танцуем все на террасе... На это у нас свободно.

Отец мой сказывал, помню, что в Янине девушки и на улицу не выходят, и причащаются ночью, а днем и в церковь даже не ходят, чтобы не видали их мужчины, а разврату, говорят, там много. У нас не так: гулять и плясать, и говорить можно, и смеяться; знай только честь свою храни... А не сохранишь честь, — либо убьют, либо всю жизнь будет стыд... Веселились мы с Янаки и до свадьбы и после свадьбы жили хорошо. Только как женился он на мне, говорит мне сурово: «Я ревнив, Катерина. Помню песенку, что поют у вас в Анерокуру:

Я тебя убью, собака ты, Катерина!

— Не ревнуй, — говорю я. — На других я и смотреть не стану.

И стали мы жить как голуби; мула он для меня купил и на праздники в монастыри возил веселиться, и на богомолье вместе ездили; дворик у нас стал чистый, и я на нем цветы развела.

Собачка у нас была, и та утешала: умная и бесхвостая родилась; мы ее *аркудица* звали; это значит медвежоночек!

Матушка радовалась на нас и перешла к нам жить; а как я стала беременной — еще больше меня Янаки по-

любил. И все люди про нас говорили: «Хорошо они, бедные, живут, хорошая семья». Один только брат Ма-ноли и тревожил нас. Такой был беспутный мальчик: не злой, а глупый и беспутный; через глупость свою погиб! Пусть Господь Бог простит его душу!

III

Сначала мать отдала брата Маноли к одному красильщику. Ходили они вместе по домам и красили двери и потолки. Маноли, бед-

ный, тогда еще любил семью, и где дадут ему *бахчиш*[4], не прогуляет все, а что-нибудь и матери принесет.

Собой он вышел такой красивый, что все оборачивались, глядели на него, когда он шел по дороге. Я что такое! Я перед ним цыганка всегда была. И муж мой шутил всегда матери:

— Если бы я не знал тебя, матушка, за честную жену моему свекору покойному, я бы на всех старых цыган и арабов смотрел бы... который из них любил тебя? такую ты мне жену черную родила!

«Грех! — бывало скажет бедная мать. — Стыдно такие слова говорить!» А сама ничуть не сердится.

Мы все трое мирно жили вместе. А Маноли наш был такой белый, как английские барышни бывают. Кудри черные, походка, рост, руки — все как на картине. А глаза были у него синие, как море в жаркий день, и сладкие, тихие такие, когда он задумается. Только, я говорю, ни ума, ни хитрости у него не было. Всякому верит: пожал ему руку кто на базаре, из богатых, бежит домой.

— Хороший, — говорит — человек! Руку

мне жмет. Как поживаешь, Маноли!

Оттого хороший, что ему, мальчику, руку пожал! А спросишь, и узнаешь, что этому человеку нужно что-нибудь было, послать ли его куда или еще что-нибудь.

Бывало начнет хвалиться:

— Меня, — говорит, — никто обмануть не может. У меня страх какие открытые глаза! У других открытые глаза бывают, а у меня еще открытее!

И откроет глаза в самом деле, так и смотрит на нас долго.

— Не пугай нас, закрой скорей! — скажет бывало муж.

А он сердится.

И вспыльчивый был и пугливый. Немного что случится: «а? а? где? где? что? что?» Туда-сюда бросается, а сделать ничего не сделает. Жалели мы его часто и бранили. За это он и мужа моего разлюбил.

Пока еще он жил у красильщика, было лучше. Красильщик был старик строгий; сам много работал и его держал сурово. Его Маноли боялся.

Дела худые начались, как он познакомил-

ся с молодым турком Хамидом, который в Ханье табачную лавку держал.

Хамида этого и турки звали Дели-Хамид, это значит на настоящем турецком языке — безумный Хамид, либо Хамид-сорви-голова. Торговал Хамид хорошо и честно. На фальшу в торговле его табаком никто не жаловался. Турок он был критский, из округа Селимно, и по-гречески читал и писал хорошо. Фанатиком он не был и в мечеть ходил даже редко. Что ему мечеть! Ему бы все песни петь, да вино пить, да в хорошем платье на коне лихом скакать мимо девушек. Усики свои белокурые бывало припомадит вверх кольцом, капу[5] на красном подбое накинёт, шальвары из самого тонкого и светлого сукна наденет; лошадь вся в красных кистях; скачет, кисти туда-сюда играют на лошади; точно из первых семейств дитя; точно сын бея богатого. Играл он и на скрипке и на флейте — у итальянца учился. На охоту пойдет и на охоту с флейтой; набьет птиц и идет домой, по дороге при всех на флейте играет с радости. Жениться не хотел, хотя ему уже двадцать семь лет было.

— Законная жена — бремя, — говорит. —

Пооди, родным комплименты строй! А рабу теперь трудно купить; закона уже нет. Все франки это наделали!

На вино Хамид был крепок и пил много; но чтобы срам какой делать пьяному, этого он не любил; поет и веселится, а потом заснет. Когда другие турки говорили ему: «Зачем пьешь с греками? Пророк пить не велел». У него была на это история, сейчас и расскажет ее.

Как при султানে Мураде жил в Константинополе один пьяница Бикри-Мустафа. Султан Мурад строго наказывал пьющих турок и казнил даже тех, от кого пахло вином. Сам султан и вкуса вина не знал до тех пор, пока не встретил Бикри-Мустафу. Раз шел султан ночью, — сам осматривал город. При нем была стража. Встретился ему Бикри и кричит: «дай мне дорогу!»

— Я падишах! — сказал султан.

— А я, — говорит пьяница, — Бикри-Мустафа, я Константинополь у тебя куплю, и тебя самого куплю, когда хочешь. Велел султан его взять во дворец, и когда на другой день Бикри протрезвился, султан Мурад призвал его и

спросил: «Где ж твои сокровища, чтоб и меня и столицу мою купить?» Вынул Бикри из-под платья бутылку хорошего вина и сказал:

— О! падишах! Вот сокровище, которое ничего делает царем-завоевателем и факира последнего равняет с Ис-кендером двурогим. (Такой царь, говорят, был в Македонии — двурогий; весь м!р покорил; у Маноли-брата и книжка об нем была.) Удивился султан, попробовал вина и с тех пор первый пьяница в свете сам стал, и Бикри-Мустафу во дворец себе в друзья взял.

Про этого Бикри Хамид всем рассказывал. Другие турки подивятся этому рассказу его и оставят его, только скажут: «одно слово — Дели-Хамид!»

С Маноли он вот как познакомился. Брат красил дверь у кофейни. Было это в пятницу, и много турок сидело пред кофейной на стульях. Курил и Хамид наргиле. Курил и глядел на брата.

Глядел долго и как вдруг вскрикнет: «Бог мой, вера ты моя, бояджи!» Бояджи значит красильщик.

Так понравился ему брат, что он его Богом

и верой назвал. Зашумели турки, схватили Хамида и повели к кади. Кади сказал: «Запереть его в тюрьму. Завтра разберем дело!» А Хамид не испугался ничуть и обдумал свой ответ за ночь, верно.

Привели его в суд. Спросил кади: «Правда, что ты маленького грека-красильщика назвал Богом?» «Нет, говорит Хамид: я не красильщика назвал Богом, а Бога — красильщиком».

— Что за слова? — удивился кади.

— Пусть приведут сюда мальчика этого, — сказал Хамид.

Взяли бедного Маноли, он плачет от страха.

— Смотрите, кади-эффенди! — сказал Хамид, — смотрите на глаза этого гречонка. И в слезах насколько они прекрасны! А вчера эти глаза смеялись, и цвет их был еще чище. Кто дал им этот небесный цвет? Кто был красильщиком этих глаз? Не Аллах ли, который один всемогущ и всеблаг? Кто кроме Его мог создать такие глаза? Вот поэтому-то и назвал я Бога — красильщиком!

Засмеялся кади, и все турки сказали Хами-

ду: «Ты большой хитрец, и смелости у тебя много!» И отпустили его вместе с братом.

Хамид сейчас же, как остался с братом один, так и стал говорить ему:

— Брось ты ремесло свое, милое дитя мое. Ходишь ты весь замаранный в краске, и жаль мне твоей красоты. Ты, должно быть, и умный; если считать умеешь хорошо, иди ко мне в лавку служить. Я тебе сделаю новое платье, персидский кушак куплю и часы подарю. Служба у меня, ты знаешь, будет легкая. Сиди в лавке, вешай табак и

деньги считай, когда меня самого не будет. Считать умеешь ты, Манолаки?

Маноли говорит: «Да, у меня очень открытые глаза; никто не обочтет меня!»

Мы отговаривали его бросать красильщика, боялись отдать его Хамиду.

И сначала он послушался нас; только раз ушел он, не спросясь у старика, гулять и не сказал куда, краску нужную спрятал. Старик на другое утро его бить стал. День был воскресный. Ударил его раз, ударил два, Маноли на улицу выбежал, а старик вышел за ним, не спеша, и остановил его на углу. Прижался Ма-

ноли спиной к стенке и ждет, что будет. Подошел старик, стоял сперва молча пред ним, а потом как ударил, феска с брата упала; ударил другой — кровь у Маноли изо рта пошла.

Было тут много арабов и турок. Кинулись они и стали брата отнимать у старика. Один араб старый говорит: «Грех тебе молодого бить так; сегодня праздник у вас, а ты бьешь его!»

Старик видит — заступников много; оставил брата, а туркам и арабам сказал, когда уходил: «Не грех мой вам забота, а у вас у всех пакость на уме; оттого вы молодых и жалете!» Старика, за эти слова мусульманам, две недели в тюрьме продержали; а Маноли перестал нас слушаться после этого, ушел к Хамиду; и в новом платье, с цепью серебряной на часах, сел как картинка в лавке у беспутного турка.

IV

Дивлюсь я всегда, отчего нашей семье такая доля несчастная выпала? В один год и мать скончалась, и мужа моего камнем раздавило, и брата убили турки в Ханье. Игумен

монастыря Пресвятой Богородицы так говорил мне об этом. Апостол Иаков сказал: «надо радоваться всякому горю и искушению. В горе и в искушении терпенье человеческое видно». Игумен этот был человек молодой и ученый; в Афинах учился. Проповеди говорил очень высоко и монастырь в порядке держал. Говорили про него люди, что он горд, любит очень хорошее платье и деньги. Я этого не знаю; а знаю только, что он к сфа-киотам в горы ушел в 66-м году и вместе с простым народом против турка бился; а потом пропал без вести; убит ли он или скрылся где, — не знаю. Видно, говорил он мне тогда от души, — что и сам горя и смерти не побоялся; и своей высокой должности и своего покоя не пожалел! Как вспомню его, как он молодой еще, и ростом видный, и важный, в золотой ризе на высоком кресле стоит у обедни: так жалко мне его станет, кажется, больше чем мужа и всю семью мою. С тех его слов — и я меньше плачу, — а собираю все, что заработаю, чтобы по смерти моей половину только дочери моей оставить, а на другую половину серебряную большую поликандилью на остров Тинос

сделать. Так-то душа моя покойнее! Живу и жду своего часа, когда и он чередом придет.

А тогда было не то. Сперва матушка заболела и скончалась. Жаль нам ее было; и за ребенком моим она смотрела, и во всем помогала нам, и слова дурного мы от нее не слышали ни разу!

Что делать! Похоронили ее. И брат Маноли пришел на похороны из города, только он мало об ней плакал; совсем от турецких ласк и подарков обезумел мальчик и забыл сердцем семью.

Около этого времени поднялись на Вели-пашу наши сельские греки. Стал братья народ за оружие; собирались люди толпами и подступали к Ханье.

Вели-пашу и я сама часто видала; в Халеппе около Ханьи у него свой дом был летний; в Халеппе же и английский консул тогда жил с женой. Он очень был дружен с Вели-пашей: обедают друг у друга; гуляют вместе; паша возьмет консульшу под руку, а консул возле идет. Мы смотрим и дивимся: как это турок с англичанкой под руку идет! Точно он не турок, а франк настоящий! Такого паши у нас

еще и не видывали.

Вели-паша был наш критский; отец его так и звался Мустафа-Кырытлы-паша. Имения у Киритли старика были огромные в Крите; недавно он их только все распродал. Самый большой конак[6] и сад самый прекрасный около Серсепильи были его. Войдешь — как рай! Фиалки цветут и благоухают по дорожкам, — апельсины, лимоны, тополи стоят — кажется, до самых небес — высокие; фонтаны льются; рыбки красные нарочно пущены в воду. А кругом этого сада, — куда ни обернись, — все оливки широкие, тень прохладная, птички поют... Миру бы и вечному бы счастьем тут быть!

И жил бы Вели-паша у нас в Крите долго, если бы людей захотел обижать.

Политические люди, которые эти дела знают, говорят, будто бы он человек не злой и с большим воспитанием; а только задумал, как паша египетский, от султана особенно царствовать, или вот как на острове Самосе князь Аристархи был.

Малое дело! Правда или нет — не знаю; только стал народ непокоен что-то.

Есть у нас в селе кофейня. Держал ее тогда грек из Чериго. Такой был патриот этот черигот, что Боже упаси! Усы — страсть большие; плечи, глаза — все большое у него было.

Умел он и с турками ладить для выгод своих; а над дверьми кофейни своей синюю краской расписал такой букет цветов, что всякий видел (кто был поученее или поумнее) — что это не цветы, а двуглавый орел византийский. И газеты умел этот черигот доставать такие, которые запрещали турки строго. Никогда даже и не скажет: — *Крит; а все: отечество Миноса* (это царь Минос был у нас в Крите гораздо прежде чем турки пришли).

С моим Янаки они большие друзья были. Если нет в комнате турок, — черигот сейчас пальцем в грудь мужа толкнет и скажет: «С такою силой, с такими плечами да на войне не был!» — «Пойду и я, когда нужда будет!» — скажет бывало Янаки.

Так у этого черигота стали собираться наши часто и говорили о политике и о том, что права даны были критским людям и опять отняты. Приходили и к нам в дом, по вечерам. Менья уж и сон в углу давно клонит, а кафеджй

нам все говорит: «Права и права; Меттерних да Меттерних-австриец много грекам зла сделал! Теперь и здесь вас судит кади в чалме по корану; а надо вам *димогеронтию* свою, и чтобы вас архиерей и свои старики судили...»

— Люди вооружаются, — скажут ему наши.

— Слова одни, — кричит кафеджи, — все слова... Вы критяне — лжецы все; про вас и апостол Павел сказал, что вы лжецы.

А муж мой ему на это:

— С того времени, брат, как апостол Павел жил — много лет прошло. Люди народились другие!

И правда, что из дальних деревень стал народ в Сер-сепилью собираться; и мой Янаки сказал: «пора и мне, душа моя Катерина, туда!»

Забилось мое сердце сильно, и заплакала я, а не сказала ему «нейди». Нельзя же человеку хорошему нейти на опасность за родину, когда другие идут.

Только не пришлось ему и ружья отцовского вычистить; чрез два дня после этого разговора нашего убил его на работе камень.

На дом и не принесли его; меня пожалели

люди, — а прямо взяли на церковный двор.

Там я его и тело несчастное увидала.

Конечно, господин мой, есть и вдовьим слезам конец. Много и я пролила слез об Янки, однако надо было и себя и девочку кормить. Взяла я ребенка моего на руки и пошла в город наниматься в служанки.

V

Я вам сказала, господин мой, что пришла в Ханью искать службы в каком-нибудь доме. Сказали мне, что у одного католика только что ушла служанка. Я пошла в этот дом и согласилась служить за пол-лиры в месяц. Девочку мою они взять с собой не позволили, и я отнесла ее опять в село и отдала к одной родственнице.

В этом доме я прожила всего один месяц. Не могла: и работы много, не по силам моим, и брани и обидам всяким конца нет. Зачем ты чисто одеваешься так? Что ты, мадама, что ли? С твоею ли мордой одеваться чисто? Должно быть, ты развратная какая-нибудь? Хочешь, чтобы мужчины на тебя глядели? Гости придут; выскочит мать, выскочит дочь:

как ваше здоровье? как живете? — Как живем? Знаете — как живется в этих варварских странах? От одних слуг сколько мученья! «У вас новая горничная гречанка?» — «Гречанка, к несчастью. Везде простой народ зол и груб, а уж злее греков — нет людей на свете. Гордость какая! Нельзя слова сказать! — Уж, конечно, злой народ. Они в душе ненавидят нас и между собой, да с русскими в разговорах, скило-франками нас зовут; хорошо делают турки, что бьют их!»

А я держи поднос с кофе или с вареньем и слушай все это.

И мать и дочь грязные были такие! Пока нет гостей, все в грязном и в старом сидят; а стукнули в дверь, — Христе и Матерь Божия! — «визиты! визиты!» — кричат. Давай то, давай другое; двери отворяй! Все разом!

— Мы, — говорит, — большие люди — господа!

— Нет, — думаю я, — господа настоящие не такие бывают! Видала и я!

Скупость да злость непомерная в доме: пирог сладкий принесут им, мать сама все ку-сочки сочтет и запрет в шкаф. Сами съесть не

могут; велик пирог; а людям не Дадут и бросят, когда мыши и мурашки источат.

Старик сам подбрее был, зато уж развратен очень; стал было шутить со мною — я и ушла. Вся душа моя поднялась — точно выйти из тела хотела с досады! Куда деться? Не хотела я к туркам идти, а делать нечего. И не хочу я лгать и грешить; от турок я добра больше видела: один купец хороший, Селим-ага, взял меня в гарем свой. Возьми, говорит, и дочь свою, пусть с нашими детьми и спит и играет. Тут и работы было меньше, а слов обидных и совсем я не слыхала. Старик суровый был Селим-ага, а меня иначе не звал, как «дочь моя»; за стол жена его меня вместе с собой сажала и детям своим мою девочку обижать никак не давала. Если сын ее толкнет мою дочь либо скажет ей худое слово, так она возьмет щипцы от жаровни да ему тут же добрый урок даст.

Руками они ели, а я дома вилками привыкла есть; одно это трудно мне было; а то ничего!

Брат Маноли ко мне часто ходил: с Хамидом они уж ссориться стали. Маноли теперь

подружился с одним морайтом молодым. Этот морайт, хоть и христианин был, а еще хуже Хамида; распутный и скверный человек!

Фустанелла у него всегда грязная; лицо худое и злое. Пить ему, да драки заводить, да к дурным женщинам ходить, да воровать, да разбойничать — вот его дело! Чем жил этот человек (Христо Пападаки его звали) — не знаю. И сам говорил:

— Мы морайты — разбойники! Умные люди! Придет наш деревенский в Афины; фустанелла грязная; феска сальная; кланяется всем... Откуда ты, брат? «Из Морьи[7], господин мой!» Сожмешься весь, отвечаешь. А пожил да поправился чем Бог помог: куртка шитая! феска хорошая; подперся и стоит у кофейни! Хоть сам король спроси: «Откуда ты?» «Мы откуда?! Мы из Пелопонеса!» — да и прочь пойдет гордее министра всякого!

Уж не раз и выгоняли турки Христо из Крита за буйство и всякие беспорядки; а он опять приезжал; в тюрьму консулы греческие его сажали и в убийствах его винули. Только как его сожмут покрепче, он сейчас грозитя:

«Пойду, потурчусь». И оставят его. Это с таким-то разбойником свел мой бедный Манолаки дружбу.

Водил Христо его и к тем турчанкам, которые по дорогам открытые ходят, и в другие скверные места.

Узнал это Хамид и начал бранить брата и ссориться с ним; и все-таки так любил его, что прогнать не мог его из лавки.

Мне все это мой новый хозяин Селим-ага рассказал однажды. «Аман![8] бедная Катерина, говорит мне; жаль мне тебя сироту и вдову огорчить, а пропасть твоему брату. Худое дело Дели-Хамида любовь, а дружба разбойника Христо еще опаснее! Либо в тюрьму попадет Ма-ноли, либо убьют его! Уж я слышал — Хамид грозился зарезать его, если будет с Христо в худые места ходить. Стыжусь я, старик, и сказать тебе это; а правду сказать надо! Ревнует его Хамид и говорит: „Я тебя не отпущу от себя, а убью и сам пропаду!“ Это все мне добрые люди сказали!»

Я закричала и заплакала; а старик ага говорит: «Позови его; мы его вместе усовестим». Позвали мы Маноли и стали вместе с Се-

лим-агой его уговаривать. Только старик, Бог его прости, все дело испортил; разгорячился да и стал срамить и пугать мальчика.

— Отец твой был честный и мать честная, и сестра честная в доме моем живет! а ты мошенник, да распутный, да разбойник! Тебя в хороший дом пускать нельзя; я тебе другой раз вот эту палкою голову проломлю, если ты не исправишься. Потому я твоего отца знал и любил и тебя жалею!

Так-то хотел пожалеть его палкой ага! Простой человек был, думал сделать добро; а сделал еще хуже. Обиделся Маноли и говорит мне, когда я вышла его провожать за дверь: «Я, Катерина, больше сюда не приду! Будь проклята вера этого старого дьявола и весь дом, и отец, и его мать пусть будут прокляты! Всякий осел да будет приказывать мне! Он мне не отец и не брат! — Прощай, говорит» .

И ушел; весь покраснелся от гнева; идет так скоро от меня, только шальвары колыхаются туда и сюда и кисть на феске.

Стою у дверей и думаю. Вот и ругаться, и проклинать людей научился! а личико-то у бедного красивое и доброе, как у того Михаи-

ла Архангела, которого образ из России наш игумен привез. Точно такое лицо; мы все на образ этот любоваться ходили.

С тех пор я уж и не видала никогда моего брата! Час его смертный был близок, и никто из нас этого страшного часа не знал.

VI

Христиане наши в это время вооружились и собрались под Ханьей, около Серсепильи и Перивольи. Их было тысяч около десяти из разных епархий и сел. Начальников у них было много, а главный самый был один молодец — Маврогенни. У нас и теперь так говорят люди, — во времена Вели-паши, либо во времена Маврогенни, — все равно это. Стали они в садах и под оливками; не портили и не трогали ничего даже в турецких садах и домах и послали сказать всем сельским туркам в Киссамо и Селимно, где больше турок, и в другие места, чтобы они работ своих не бросали и не боялись бы. «Мы с Вели-пашой воюем, а не с вами. Вы критские люди, такие же, как и мы, и от нас вы зла не ждите...»

Однако глупые турки деревенские нашим

не поверили, а поверили Вели-паше. Паша подсылал им людей: «Идите, спасайтесь в города; не верьте грекам; их больше в селах, и они вас там всех перебьют».

Ему хотелось, как слышно, чтобы больше смут было в Крите и чтобы султан сказал: «ты один исправишь все там, Вели-паша! без тебя нет спасенья»...

Говорили также наши, что английский консул тоже все против христиан действовал.

Пошли турки в город из деревень толпами. Женщины, дети на ослах, на мулах едут; пожитки везут: а мужчины около пешие с ружьями. Усталые, сердитые, голодные все в Ханью собрались.

Работы свои полевые покинули и жить им нечем: работ в городе для них нет...

Город наш-то, знаешь, тесный; улицы узкие; стены кругом города толстые; ворота у крепости на ночь запрут и бежать некуда; разве в море броситься. Страшно стало христианам городским. Как ночь придет — души нет; так и ходит за тобой смерть жестокая!.. Что делать? Куда бежать?

Наши из садов Серсепильи шлют сказать

паше:

— Пусть султан нам права возвратит обещанные!

А паша ждет войска из Константинополя и не уступает. Турки в городе, — сказала я, — голодные, злые, теснота им, жить негде; у кого родные были, и тех стеснили, а у кого не было родных?! И то сказать, каково было в жару в эту летнюю с детьми маленькими и с больными, и старыми людьми, где попало жить?

В селах у них, какие бы то ни было, а дома чистые и хозяйство свое было заведено. Грозятся они нам ежедневно; ходить по базару грекам становилось опасно. И женщин трогали турки. Вышел епископ в праздник из митрополии; за ним мы идем. Стали трогать гречанок турки; епископ остановился и закричал на них: «не трогайте женщин, которые с молитвы идут! Это и по вашему закону стыд и грех великий!..»

А один киссамский паликар вынул нож из-за пояса и хотел ударить епископа.

Паша велел этого молодого турка в цепи заковать. И от этого остальные турки ожесточились еще сильнее.

А наши молодцы из Серсепильи шлют свои угрозы. — «Если тронет кто христиан в Ханье, мы запрем источник и весь город и паша от жажды истомятся». Вода хорошая из Серсепильи в город проведена, и даже место это зовется у нас: «*И мана ту неру*» (мать водная). Куда пошли бы турки из Ханьи брать воду? По селам окрестным? — боятся, войска мало... А в городе нет иной воды хорошей.

Вот так-то мы мучились долго. Я задумала из города от страха и духоты уйти; думаю, лучше один хлеб в деревне какой буду есть и жалованья не надо мне, когда что ни ночь — то страшнее и страшнее становится. Как придет час запирать ворота городские и увидишь над собой со всех сторон до небес толстые стены, и кругом все турки суровые, с большими усами — так и польются слезы от страха! Как живую в гроб тебя кладут, вместе с ребенком твоим невинным. Турчанки мои меня утешали и ободряли:

«Не бойся, *море*[9] Катинко! мы тебя никому не дадим! Ты в гареме у нас, не бойся!»

Однако я все-таки собралась уйти, хоть и много благодарила их. «Пробудь до завтра, —

сказала хозяйка сама, — вымой ты мне это платье одно; а завтра тебе добрый путь».

Я осталась на одну еще ночь. Девочка моя уж давно заснула, и мы стали собираться спать; Селим-ага в кофейне был и не пришел еще... было уж около полуночи... Все стемнело и стихло в городе... Вдруг, как закричит кто-то от нашего дома недалеко:

— Режь гяуров!.. Режь! Всех гяуров режь... наших бьют!..

Минуты, я думаю, не прошло — бегут турки со всех сторон. Огонь! Крики! Оружие стучит; двери хлопают в домах. Женщины плачут, дети кричат.

Упали было подо мной ноги; но вспомнила я о дочери; схватила ее и кинулась к дверям. Хочу бежать в итальянское консульство; вспомнила я консула мусьё Маттео, добрый был старичок.

Хозяйка кричит: «нейди, глупая, нейди; мы тебя в ковер завернем и под диван бросим; кто сюда в гарем из чужих турок резать тебя придет!..»

А я не помню себя, вырвалась и ушла на улицу. Девочка моя плачет со сна и с испуга; а

я бегу с ней.

Уж кто мне попался навстречу, и не помню в лицо никого. Помню, и солдаты турецкие бежали, и офицеры, — и наши, и простые турки раздетые и с криком...

Одно видела я хорошо. Собралась в одном месте толпа солдат; я остановилась — что делать. Смотрю, выскочил из дверей один сосед наш, старый бей турецкий; выскочил раздетый, с топором в руке и кричит: «наших бьют! режьте! режьте греков».

Полковник низамский[10] как схватит его за горло да как даст ему по щеке:

— Лжешь! — говорит, — никого не бьют!

Вырвал у него топор, в дом его назад втолкнул, дверь запер и ушел дальше с солдатами. На меня они и не взглянули. А я увидела, что по другой улице греки с женами и детьми бегут толпой — кинулась за ними и вошла вместе с ними в французское консульство; русского тогда у нас в Крите еще не было; греческий консул дальше французского жил; и все-таки понимала я: — «Франция — держава большая, европейская, в этом консульстве не так опасно будет».

Знала я, что франки, хотя и злы на нас, а резать нас туркам простым, без причины, не дадут; не потому, чтобы они нас жалели... Господи избави — жалеть им нас! а потому, что свету хотят показать, будто в Турции закон и порядок есть. Эти дела политические у нас всякий ребенок глупенький знает!

Вот вбежала я за другими к французскому консулу... А уж дом его полон греками. В этот час все консулы, кроме английского, отворили народу нашему двери. Английский — в деревне ли был, не велел ли отпирать, не знаю, — только заперты были двери его для наших.

Во французском консульстве стон стоит и плач.

Кавассы бледные ходят; шепчутся. Консул сам задумчивый ходит тоже, шагает через ноги наши, курит молча. Выйдет на балкон; постоит, послушает и опять вернется.

— Нет ли у вас оружия? — спрашивает.

— Есть, — говорят люди.

Он кликнул кавассов и велел отобрать оружие.

— Беда вам! — сказал он, — если у которого

из вас нечаянно выстрелит пистолет; подумают турки, что мы в них отсюда стреляем, и тогда... кто знает, что будет. Сидите тихо и не бойтесь; вы под флагом французского императора!

Успокоились мы как будто немного, стали потихоньку между собой говорить.

— Что случилось? — спрашиваем друг друга. Один грек и сказал, как вышло все это. Рассказывал

он, и мы все слушали, и драгоманы, и кавассы, и сам консул.

Слушала и я, и не знала, несчастная, что это о моем бедном брате речь. Один христианин молодой турка в кровати зарезал; хотел его деньги взять. Да ударил ножом неловко; весь в крови бросился бежать на улицу, а турок истекает кровью — тоже дошел до порога своего и стал звать других турок на помощь... Турки и подумали все, что греки их резать собрались...

— Слава Богу! — крестились мы, — это еще ничего!.. И в городе все стихло как будто.

Слышим, мимо консульства низамы прошли — «стук, стук, стук!» Слышно, правиль-

ное войско идет... все не так страшно стало...

Сидим полчаса, сидим час у французского консула — все тихо... Послал он пред этим еврея, драгомана своего, в Порту... Пришел еврей бледный, дрожит и шепчет что-то консулу.

Вышли они вместе.

Как вдруг загремят ружейные выстрелы... чаще, чаще! Мы только руки подняли к небу и взмолились о прощении грехов наших.

Гремят ружья все сильнее. Вбежал кавасс и говорит:

— Того гречонка, что турка зарезал, схватила полиция и увела его в конак к паше. Турок же простых тысячи собрались пред конаком, и беи, и ходжи с ними и кричат Вели-паше: «или отдай нам грека этого на растерзание, или мы всех христиан перебьем в Ханье!»

Паша не отдает его, говорит — судом его будут судить, так убивать нельзя. Как услышали этот ответ турки, и стали стрелять в окна паши. Что-то будет!

Побежал опять драгоман куда-то с кавассом.

А мы говорим друг другу в страхе нашем: «Уж лучше отдали бы, правда, этого грека им, чтобы нас спасти! Он убийца, а мы что сделали?» И стали люди молиться; и я, пусть Господь Бог простит меня! помолилась:

— Когда бы отдал паша убийцу на растерзанье!..

Не знала я, что о погибели любимого брата молю! Потому что это Хамида своего он убил, а никто другой. Текут мои слезы градом и теперь, когда я вспомню об этом!..

VII

Потерпите же теперь, я расскажу вам, как это случилось, что Маноли наш Хамида убил.

Я уж это все после хорошо узнала.

Любил его, видно, Хамид крепко. И Маноли, я вам говорила, сначала доволен был судьбою своей. А потом, когда Христо Пападаки и другие греки стали дразнить его Хамидом и смеяться над ним, ему тяжело стало. И Хамид стал грозить ему тем и другим. «И себя убью, и тебя!» — говорил Хамид.

— Брось его, — учит Христо. — Уедем в Элладу; там просвещение и свобода, а здесь Тур-

ция.

— Убью тебя, если уедешь от меня, — твердит Хамид.

Брат уж и плакать стал, а Христо свое продолжает:

— Уедем да уедем в Элладу. Ты собой красавец, и у меня сестра младшая в Патрасе еще красивее тебя будет. Как цвет гвоздики она хороша! Не видал от нее еще и улыбки ни один мужчина. Ты первый будешь. За ней дом дадут тебе, если ты будешь мужчина.

— Разве я не мужчина? — спрашивал брат.

— Какой же ты мужчина? Когда бы ты был мужчина — Хамида, который по детской глупости твоей опозорил тебя, давно бы на свете не было. Убей его и бежим вместе; возьми все деньги его из кассы и беги прямо ко мне, как убьешь его. Я спрячу тебя на корабль греческий.

В этот вечер Хамид был пьян немного; считал свои деньги при Маноли нарочно, должно быть, чтоб Маноли от него не уходил; забыл запереть их и лег. А брат поднялся и ударил его в грудь ножом... Да ударил дурно... Потерялся и побежал из лавки... Поднялся крик

и шум в соседстве, и заптие[11] на углу поймали его и отвели в конак.

Вот как это было. Вели-паша, когда увидел, что турки стрелять в конак его начали и что стекла в окнах от пуль биться и падать стали — задумался. А все говорят ему кругом: «отдай ты этого гречонка проклятого; он убийца».

Турки все стреляют в конак и ревут как звери: «отдай нам его! отдай!!!»

Что было делать паше? Не губить же всех из-за одного? Солдат и заптие у него мало!

Однако терзать брата он не дал им; а вывели заптие мальчика на высокую лестницу... Внизу народ, как море кипит... Уж и на лестницу кинулись и лезут. Заптие по-скорее удавили Маноли веревкой и кинули с лестницы его тело народу.

Повеселели турки-варвары тут же; привязали к цепям, которые у брата на ногах были, веревки; схватились за них и побежали с криком и проклятиями по всем улицам.

Пред каждым консульством они останавливались и ругали и греков, и всех, по-ихнему, гяуров вместе. И консулов самих осыпали

бранью самой скверной.

И около французского консульства просто-ляла толпа долго с криками и бранью.

Кто посмелее был из нас, побежали к окну.

— Довольно вам, гяуры, царствовать над нами! Кончится скоро царство ваше здесь, собаки, шуты маскарадные, сводники! Всех вас в клочки изорвем! всех!

Я думаю, вы и сами, господин мой, поймете, до чего это страшно было.

Консул, однако, вышел на балкон, уговаривал турок уйти, а сам между тем высмотрел, кто из них больше кричал и бесновался. Заметил после и паша этих людей; как стихло все, в тюрьму посадил. Дольше всех просидели один дервиш горбатый и старый бей один, наш деревенский, из Халеппы: он в серебряных очках всегда ходил. Этот бей шесть месяцев пробыл в тюрьме за это.

Накричались турки и потащили дальше труп Маноли; цепи звенят по камням. С шумом и смехом толпа бегом за трупом бежит.

Мы все перекрестились и отдохнули. Иные с радости стали плакать, и все благодарили консула.

Турки кинули труп брата в ров, разошлись по кофейням, закурили наргиле, успокоились, веселились до рассвета и хвастались, что самим консулам задали страха.

Тем это дело и кончилось. Скоро после этого приехал из Константинополя старик Сами-паша сменить Вели-пашу. Пришло с ним и войско. Сами-паша привез грекам обещания: уступить им многое, чего они просили (что обманули потом — это вы знаете). Пришел и молодец Мав-рогенни в Ханью. Сами-паша верхом, а Маврогенни около него идет; пусть все видят, что критские христиане помирились с турецким начальством.

После этого греки из Перивольи и Серсепильи разошлись по домам, и турки деревенские из Ханьи все ушли. Люди радовались, что все утихло, и хвалили консулов; один только тот усатый черигот кафеджи, который с мужем покойным был друг, все не хвалил и не радовался.

— Жаль, жаль, — говорит, — что ни вас всех, ни консулов турки не перебили! Конец бы тогда Турции сразу! Вы думаете, эти западные консулы об вас заботились? Глупый вы

народ! Это у них тоже своя политика друг против друга. Назло все они это англичанину сделали; зачем больше их весу у Вели-паши имел. Ах вы деревенские головы! Что мне сделать с вами, не знаю.

Уж не знаю, правду ли он говорил, кафеджи, или так у него уже злость против франков была.

Как утихло все, говорю я, и душа моя утихла вовсе, господин мой! Долго и слез у меня ни капли не было. Точно душу мою кто ветром, как лампадку, задул. Хожу — ничего не хочу, все вижу, а смотреть ни на что не смотрю.

Хлебом одним год почти питалась у себя в доме и, кроме церкви, никуда не ходила. Сердце мое стало как камень, а камень такой всяких жалоб и слез тяжелее!

И о брате, и об муже, и об матушке вспоминала нарочно, не заплачу ли?

Дочь нарочно начну няньчить: «Сирота моя! несчастная моя!» Все не плачу!

Только, наконец, весной я заплакала, и стало мне много легче. И вот отчего это случилось.

Девочка моя на руках моих стала дремать, а я сидела и вспоминала всякие песни, которыми няньчат детей.

И вспомнилась мне одна нездешняя песня; отец меня петь ее выучил, когда из Эпира вернулся.

Нашего маленького, маленького балованного. Вымыли его, вычесали, к учителю послали...

Ждет его учитель с бумагой в руке;

А учительша ждет его с золотым пером.

— Дитя ты мое, дитя, где твоя грамота, где твой ум?!

— Грамота моя на бумажке, а ум мой далеко, далеко! Далекое, у девушек тех черноглазых,

Глаза у них точно оливки, а брови снурочки.

А волосы их белокурые — длиной в сорок пять аршин!..

Вот эту песенку как запела я сама про себя (девочка моя уснула), и вспомнила я, как носила брата! сама еще мала как была!

Несу его, помню, домой из-за ворот вечером и пою эту песню; и месяц ему в личико

светит, и он глазами синими на мои глаза
глядит и молчит... Вот как это я вспомнила,
открылась душа моя с того часа, и полились
мои слезы!..

Верьте мне, господин мой, что я вам всю
правду сказала!

Я слушал внимательно рассказ Катерины.
Небо над нами было чисто, и розовый цвет
уже покрывал старый персик, у которого мы
сидели; море не шумело, и мирно блистал
снег вдали, на высотах Сфакиотских...

Я верил страданиям Катерины; но и стра-
дания, и радость в этом прекрасном краю ка-
зались мне лучше тех страданий и радостей,
которыми живут люди среди зловонной рос-
коши европейских столиц.

Примечания

Впервые: Заря. 1869. Кн. 11. С. 4-28. Здесь публикуется по: К.Н. Леонтьев. ПССиП. Т.3. СПб., 2001. С. 147-171.

[^^^]

2

Эленица — уменьшительное от Элена.

[^^^]

Бакал — лавочник.

[^^^]

4

Бахчиш — награда на чай, на водку.

[^^^]

5

Kana — короткий, очень красивый бурнус с башлыком.

[^^^]

6

Конак — большой дом, хоромы.

[^^^]

Морья — грубо произнесенное *Морея*, т. е. *Пелопонес*.

[^^^]

8

Аман — Увы! ах! беспрестанно употребляется на Востоке.

[^^^]

Море — звательный падеж от *морос* — глупый. Это не всегда брань на Востоке, а просто фамильярное и даже иногда ласковое воззвание, как бы у нас: *дурочка* или *глупенькая*!

[^^^]

Низам — регулярное войско.

[^^^]

Заптие — жандармы.

[^^^]